

Задания для регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (2010-2011 учебный год)

Региону предоставляется выбор из двух вариантов для каждого класса

10 класс

Вариант 1

Комплексный анализ художественного текста.

В.М. Гаршин

Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («как он попал в нашу цепь?» — мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Из рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось; огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», — подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на ключие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружьё, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперёд. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Ещё страннее было то, что вдруг всё исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы — вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твёрдым, должно быть веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу, шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает всё моё тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звёзды, которые так ярко светятся на чёрно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из неё? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль ещё сильнее. Боль, как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперёд, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами) — и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» — закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, всё видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что ещё тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головой, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звёзды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться; наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною — клочок чёрно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то тёмное, высокое. Это — кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля доконала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня... Как будто бы кто-то стонет. Да, это — стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это — я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это всё равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ловиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то тёмное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нём видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это — труп или раненый

Всё равно, я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

«Помогите!.. Помогите!»

Дикие, безумные хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Всё остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы он был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах, боже мой! Будто не всё равно! И сон опускается на мои воспалённые глаза!

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Всё равно. Лучше не шевелиться. Пусть

тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но её ничем не удержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, всё это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моём воображении.

Это было давно; впрочем, всё, вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежал ещё здесь с перебитыми ногами, была так давно... Я шёл по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал её. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унёс.

Толпа разошлась.

Унесёт ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шёл в каком-то опьянении, да и было отчего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжёт. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это — турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...

Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мёртвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далёкий север: не идёт ли её ненаглядный сын, её работник и кормилец?..

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошёл ему прямо в сердце... Вот на мундире большая чёрная дыра; вокруг неё кровь. Это сделал я.

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шёл драться. Мысль о том, что и мне придётся убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошёл и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нём египетский мундир) — он виноват ещё меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошёл. Если бы он не пошёл, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шёл длинным, трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперёд, он пришёл в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего чёрного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти вёрст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришёл!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Всё равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше — не больше, а хуже — десятков вёрст. Всё-таки

нужно ползти. Горло горит, жжёт, как огнём. Да и умрёшь без воды скорее. Всё-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а всё-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода — и как много! Кажется, больше полфляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притом её было много. Я проживу ещё несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там ещё рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну, и что же? Если я и проживу ещё дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Всё равно — умирать. Только вместо трёхдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружьё, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом — один миг, и конец. Патроны валяются тут же, кучею. Он не успел выпустить всех.

Так кончать или ждать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасён. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; моё путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут ещё этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащить. Отдохну и поползу на старое место; кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжёт мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поскорее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Всё по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о нём. Неужели я бросил всё милое, дорогое, шёл сюда тысячевёрстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках — только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь, полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Слеплённый идеею, я не видел этих слёз. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в их глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее — я «юродивый».

И вот я еду в Кишинёв; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберётся, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи вёрст и дерутся так

же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли — только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звёзды померкли. Тёмно-синее небо посерело, подёрнулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их ещё осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером. Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересечённый и разделённый чёрными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед — что станется с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, чёрная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло её до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я ещё могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но — передвинуть своё тяжёлое, неподвижное тело? Всё-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Всё утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, заражённый воздух так и плывёт на меня. Я прихожу в отчаяние и плачу...

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это — говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся ещё другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если ещё только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это — наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеёк, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеёк как мостик. Они, наверно, поедут через неё. Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он несколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

— Рысью, маарш!

— Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помогите, братцы! — кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья, — и меня не слышат!

О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течёт вода, моя жизнь, моё спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привёл меня в содрогание. «Это война, — подумал я, — вот её, изображение».

А солнце жжёт и печёт по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил всё. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня! Если бы даже это были и турки, всё-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю ещё, сколько времени придётся валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжело, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел её, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась ещё целый день. А я несчастнее её, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра — четвёртый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берёт меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспалённое горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда — моя очередь. И я буду таким же.

Проходит день, проходит ночь. Всё то же. Наступает утро. Всё то же. Проходит ещё день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрёшь, умрёшь, умрёшь!» — шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» — отвечают кусты с другой стороны.

— Да тут их и не увидишь! — громко раздаётся около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

— Лопаты! — кричит он. — Тут ещё двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» — хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запёкшихся губ.

— Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и ещё что-то. Потом всё исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всём теле...

— Сто-о-ой! О-опуска-а-й! Санитары, четвёртая смена, марш! За носилки! Берись, поды-ма-ай!

Это командует Пётр Иваныч, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.

— Пётр Иваныч! — шепчу я.

— Что, голубчик?

Пётр Иваныч наклоняется надо мною.

— Пётр Иваныч, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

— Что вы, Иванов, полноте! Не умрёте вы. Ведь у вас все кости целы. Этаким счастливец! Ни кости, ни артерии.

— Да как вы выжили эти четыре с половиною суток? Что вы ели?

— Ничего.

— А пили?

— У турка взял флягу. Пётр Иваныч, я не могу говорить теперь. После.

— Ну, господь с вами, голубчик, спите себе.

Снова сон, забытьё...

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сёстры милосердия, и, кроме них, я вижу ещё знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

— Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им всё, что здесь написано.

Вариант 2

Сопоставительный анализ поэтических произведений.

Сопоставьте одноименные стихотворения М.Ю. Лермонтова, Я.П.Полонского, И.С.Никитина.

М.Ю. Лермонтов

Нищий

У врат обители святой
Стоял просящий подаюня
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
1830

Я.П. Полонский

Нищий

Знавал я нищего: как тень,
С утра бывало целый день
Старик под окнами бродил
И подаюния просил...
Но все, что в день ни собирал,
Бывало к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам -
Таким же нищим, как и сам.

В наш век таков иной поэт.
Утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурен,
Духовной пищи просит он.-
И все, что жизнь ему ни шлет,

Он с благодарностью берет -
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...
1847

И.С. Никитин

Нищий

И вечерней и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Под окошками ходит с сумою,
Христа ради на помощь зовет.

Надевает ли сумку неволя,
Неохота ли взяться за труд,—
Тяжела и горька твоя доля,
Бесприютный, оборванный люд!

Не откажут тебе в подаянье,
Не умрешь ты без крова зимой,—
Жаль разумное божье создание,
Человека в грязи и с сумой!

Но беднее и хуже есть нищий:
Не пойдет он просить под окном,
Целый век, из одежды да пищи,
Он работает ночью и днем,

Спит в лачужке, на грязной соломе,
Богатырь в безысходной беде,
Крепче камня в несносной истоме,
Крепче меди в кровавой нужде.

По смерть зерна он в землю бросает,
По смерть жнет, а нужда продает;
О нем облако слезы роняет,
Про тоску его буря поет.

1857